



Наталья
ВЕСЕЛОВА

Курган

победителей

Наталья Веселова
Курган побежденных

«Автор»

2015

Веселова Н. А.

Курган побежденных / Н. А. Веселова — «Автор», 2015

Что делать, если ты отдала любви все, что имела, но тебя подло предали в последний момент? Не всем удастся пережить предательство, не потерпев невозвратный моральный ущерб. И вот милая, любящая женщина постепенно превращается в отвратительное чудовище, которое не гнушается ничем, чтобы вернуть возлюбленного...

© Веселова Н. А., 2015

© Автор, 2015

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

22

Наталья Веселова

Курган побежденных

*Повесть о любви и смерти в шести главах
с прологом и эпилогом*

*Был грозен срыв, откуда надо было
Спускаться вниз, и зрелище являл,
Которое бы каждого смутило.*

Данте Алигьери,
Божественная комедия, песнь 12

*«Мусью, сколько время?» – Легко подхожу...
Дзззызь прамеж роги!.. – и амба.*

Илья Сельвинский

Пролог (1996 год)
**Юный искатель приключений находит
их на свою голову...**

Ведьма Урсула значительно постарела с того дня, когда Ваня видел ее в последний раз, и теперь гораздо больше напоминала обычную русскую Бабу-Ягу, бояться которую стыдно и детсадовцу – не то что вполне взрослому самостоятельному парню, успешно перешедшему во второй класс. Баба-Яга – это для малышни, любой дурак скажет. Да и сама Урсула – всего лишь нарисованная уродина в телевизоре, и, вдобавок, живет под водой и имеет какие-то глупые разборки с Русалочкой¹, которая хоть и с хвостом – а все равно только наглая девчонка и ничего больше. Откуда взяться настоящей ведьме в подвале развалюхи-дома? И все-таки Ваня униженно пятился на странно ослабевших ногах – потому что как ни уговаривай себя – а вот же она: жирная и бородавчатая, будто обожравшаяся жаба, с мохнатым черным пятном на щеке, с серо-белыми жесткими патлами дыбом, в пестро-рваных тряпках, под которыми ноги или хвост – иди, разбирайся... И – накрашенная! В подвале было вовсе не темно и не жутко, свет уверенно рвался сверху сквозь щелястый просевший пол, и Ваня ясно увидел яркую синюю краску над белесыми Урсулиными глазами, размазанную алую помаду вокруг широкой черной пасти с единственным длинным зубом... Тусклые перстни унизывали корявые бурые пальцы, а на шее среди многослойных лохмотьев зловеще блестели разноцветные стекляшки. Тут и пятиклассник, наверное, вздрогнул бы, не то что Ванечка. Но главное – запах. До этого в подвале просто вполне терпимо пахло затхлостью и чем-то еще неуловимо-страшным и неперебиваемым, как в Петербурге, комнате их чистой и опрятной бабушки перед тем как ей умереть от старости... А теперь отчетливо завоняло протухшей тиной и деревенским туалетом, где мальчик всегда – на сколько б судьба туда ни забрасывала – старался дышать только ртом... И на ногах ли, на хвосте ли – а чудовище, загораживая своей сказочной тушей лестницу, по которой только что, кряхтя, спустилось вслед за беспечным исследователем подвалов, неторопливо, вразвалочку, двинулось прямо на мальчика...

¹ Урсула, Русалочка – персонажи мультфильма студии Уолта Диснея «Русалочка».

Отступать стало некуда, потому что Ваня уже незаметно дотянулся до балки и распластался по ней всем дрожащим телом, пряча за спиной мгновенно намокшие ладошки. Но он не зажмурился – просто не мог, хотя и очень хотелось – потому что в фантазмагорическом зрелище невиданной старухи было нечто болезненно притягивающее. «А вдруг она – мертвая?» – мелькнуло у паренька смутное воспоминание о недавнем фильме ужасов. Но то, что он сейчас видел перед собой, неожиданно легко вышло за пределы самого ужасного – и заодно вынесло за собой и его. Ваня с облегчением почувствовал, что бурное дыхание выравнивается, исчезнувшие было ноги постепенно возвращаются обратно и даже начинают его держать, а сиплый писк, только что бесконтрольно вырывавшийся из горла, сменяется уверенной способностью к родной связной речи. Он произнес сколь естественные, столь невероятные в данной ситуации слова:

– Здравствуйте, бабушка...

– И ты не болей, ведьмакин сынок, – вполне ласково и человечно произнесла Урсула.

Получалась какая-то путаница: ведьма-то – она, а не его мама! Ваня заторопился восстановить справедливость и разъяснить ситуацию:

– Я не ведьмакин, я мамы Ксюшин! Мы дом в деревне покупать приехали. Чтоб молоко пить все лето. Мы у тетя Вари комнату наняли. Мама дома смотреть ушла, мне сказала в саду играть с тетя Вариним Витьком – а он дурак, у него даже видика нет. Я и пошел... погулять. А в дом этот случайно залез, просто открыто было... Тетя Варя говорит, тут не живет никто давно, мне интересно было...

– Не живет, – мирно подтвердила ведьма. – Умерла. Вот и хожу к ней на могилку. Рыженькую такую, молоденькую, не встречал здесь?

– Нет... – что-то смутно странное почудилось насчет этой «рыженькой», и страх снова начал мягко приобнимать мальчика, словно не решив еще – сжать ли в тугих объятьях или уж отпустить на волю.

– А странно... – Урсула медленно повернула голову, пристально вгляделась в дальний беспросветный угол. – Уж тебе-то, кажется, должна бы показаться. Потому что если б не ты – вышла б отсюда тогда еще, летом восемьдесят седьмого. А из-за тебя – не вышла... Только вошла – и с концами...

– Неправда! – выпутываясь из все более настойчивых объятий страха, почти крикнул мальчик. – Я в восемьдесят восьмом родился, в апреле! Меня и на свете тогда не было! – по математике у него была твердая пятерка, да и с цифрами в пределах сотни он еще в детском саду, приготовишкой, легко управлялся; страх отпустил, и пришла злость: – Вы просто старая и сумасшедшая! Все забыли, а на меня валите! Уйдите отсюда, а то я маме расскажу! – еще немного, и Ваня даже решился бы оттолкнуть Урсулу обеими руками и выскочить наверх, на пыльный свет.

– Расскажи, ведьменок, расскажи... Раз в апреле – так и сомневаться нечего, – благодушно усмехнулась ведьма, как бы даже собираясь добровольно посторониться. – Расскажи, что, когда на свете тебя еще не было – а в другом-то месте сидел уже как миленький – ногу я перед тем сломала и три месяца в гипсе проторчала... У окна. За занавеской тюлевой. Окно-то мое как раз на это крылечко глядит... Меня никто не видел, а я – всех по пальцам пересчитывала, кто вошел, кто вышел... Так, от нечего делать... Туда – обратно, туда – обратно... Загну – разогну, загну – разогну... И один палец – вдруг лишний оказался, хоть отрежь его... Загнуть – загнула, а обратно не распрямляется... – старуха вдруг безумно хохотнула, и скрюченный сизый перст с коричневым косо заломленным ногтем закачался прямо у Вани перед глазами.

Отступивший ненадолго страх предательски прыгнул из угла и подмял мальчика под себя.

– А-а! – взвизгнул он, сумев, наконец, зажмурить глаза. – А-а!!! Пустите меня!! – и, хотя его никто не держал, замолотил по воздуху кулаками, несколько раз на ощупь попав в мягкое,

рванулся вперед, с размаху врезавшись в деревянную лестницу, махом взлетел по ней и, взлетев по сбившимся гнилым половичкам, вырвался на заросший сиренью и терниями двор.

Только отбежав вниз по некрутому склону холма метров на сто, позволил себе упасть и отдышаться. Все было хорошо. Нежаркое июньское солнце нежно поглаживало его по щекам, будто желая ободрить – мол, испугался? – ах ты, глупенький... Нет, маме он, конечно, ничего не скажет. Что он – недоумок, что ли? Она и так уж сколько раз убеждала папу, что фильмы ужасов распугивают ребенку психику, и следует их запретить... Ага, вот расскажешь такое – и папа, пожалуй, с ней согласится...

Ваня поднялся, постоял немножко в задумчивости, жадно и глубоко вдыхая сладко-жирный запах медуницы, потом тщательно отряхнул новенькие голубые джинсы и трусцой побежал к их с мамой временному дому.

Глава первая

А его мама с папой жили душа в душу...

Леониду и в голову не приходило, что она умрет раньше. Ксения была моложе мужа на десять лет и всегда так возмутительно молода, что на нее и шестидесятилетнюю заглядывались мужчины, только-только захваченные знаменитым кризисом среднего возраста – считали своей хорошо сохранившейся ровесницей. Он бы и в ее семьдесят мог ревновать ее к едва вышедшим на пенсию и вставившим по такому случаю бело-розовые челюсти здоровячкам, если б не был уверен с полной несомненностью, что для Ксюши вот уж около тридцати лет не существует ничего, кроме их семьи. А с тех пор, как Ванька, безжалостный, как весь нынешний молодежь, отделился от надоевших стариков, переехав в унаследованную от бабушки квартиру, вся жизнь его матери снова сфокусировалась на муже – как двадцать восемь лет назад в деревне Двуполье на реке Плюссе, когда Ксения совершила свой главный жизненный подвиг... Но это уже походит на патетику. А почему, собственно, нет? Да, подвиг. Потому что если б она тогда не поступилась законной женской гордостью, не приехала к нему на раскопки, то... Страшно подумать, во что бы он вляпался. А зная себя, он теперь с уверенностью мог сказать: не помешай Ксения, так он бы обязательно – «в г...., как в партию».

Летом восемьдесят седьмого она – растерянная, обиженная, с мягким медовым кукишем из волос на затылке, в скромном темно-синем платьице в белый горошек похожая на учительницу младших классов на каникулах, села со своим небольшим, словно пионерским, чемоданчиком вот в такой же междугородний автобус... Ну, положим, не такой же. Тогда ходили простые полосатые «Икарусы» с мягкими креслами в белых чехлах, и даже открытое неподатливое окно там надо было еще ухитриться. А он едет в замечательном двухэтажном дворце на колесах – с затемненными окнами, индивидуальными кондиционерами и таким мягким ходом, что кажется, летишь в спокойном «Боинге» над задумчивым Тихим океаном... («Ага, – вдруг гадким голосом вмешался в ровный поток его мыслей всегда живший в непосредственном соседстве, а может, даже и внутри, привычный собеседник, всю жизнь появлявшийся куда как кстати, – а там, внизу, на каком-нибудь совершенно безразличном тебе острове дикарей идет гражданская война между абсолютно неизвестными тебе племенами. И одно из племен, чтобы насолить другому и опозорить его перед лицом мирового сообщества, бах – и сбивает к чертям твой надежный самолет вместе с тремя пассажирами!²». «Иди ты знаешь куда! – беззвучно обозлился Леонид. – У меня такая потеря, а ты с глупостями!»). На самом деле острого горя он не испытывал – лишь тихую зимнюю печаль, хотя в их родном городе неяркая весна, быстрая временная гостья, уже готовилась передавать права скромному, ненавязчивому лету. Главнее горя был – страх, в котором старик не хотел себе признаваться. Последние дни

² 1 Например, пассажирский «Боинг», сбитый 17.07.14 над Украиной

он все чаще вспоминал пожилую пару отставных военных, незаметных соседей по лестнице. Хотя и были они ровесниками, сплоченно мотавшимися всю жизнь по дальним гарнизонам, но жена – здоровая и агрессивно энергичная – неожиданно умерла, не проболев и недели. Вдовец, при жизни ее всегда с иголки одетый и благоухавший неизменным «Тройным» одеколоном, без жены уже через месяц превратил свой дом в темную берлогу, откуда несло зоопарком, а сам обернулся дряхлым снежным человеком, ушедшим в дальнюю нору из родной стаи навстречу смерти, непредсказуемо заплутавшей в тайге. Когда она все-таки с большим опозданием добралась до соседа, и его, уже тронутого нешуточным тлением, выносили в черном мешке к казенной машине из дремучего логова, куда нельзя было войти без респиратора, замыкавший скорбное шествие Леонид мысленно поздравил себя с тем, что Ксюха ему – не ровесница, и, стало быть, уж от такого-то жуткого конца он гарантирован... («Вот-вот, – подло возвеселился внутренний голос, – и споем мы с тобой песенку про кузнечика... Как там – тряля-ля – "... не думал, не гадал он, никак не ожидал он, никак не ожидал он такого вот конца...". Не забыл еще? Вспоминай, пока время есть!»). «Вот тебе! – мысленно сделал Леонид очень мужской, совершенно не по праву используемый в новое время бабами жест. – Сосед – это было мне предупреждение. А предупрежден – значит, вооружен!». «Ну-ну, милый, – четко донесся издевательский голос (вот бы рожу его подлюю увидеть!), – ну-ну... Погляжу я на тебя через полгода...»).

Киевское шоссе он узнавал и не узнавал. Вот уже подъезжали к Луге, и все так же, подкрашенный по случаю юбилея Победы и заваленный увядающими венками, пролетел мимо партизанский мемориал – а ведь он еще помнит, как его возводили... Страшно сказать, он помнит не только тех, кто вернулся с той войны живым и покалеченным, – но и их матерей, в его детстве еще нестарых женщин с подкрашенными «под Орлову» губами... Когда тощим студентиком он ездил в эти же места раскапывать многочисленные курганы, то без всякого пиетета разговаривал в деревнях с теми, кто сейчас стал легендой, и знал, что легенды эти при жизни часто оказывались обычными сорокапятилетними колхозными мужиками, с тупой обязательностью глушившими самогон, – и вовсе не по причине каких-нибудь тяжелых душевных травм, полученных на той войне. Они нешуточно мутузили и показательно «гоняли» своих выдюживших оккупацию корявых горластых баб, гордились принципиальной нелюбовью ко всему «культурному» и оставалось только удивляться – где там внутри какого-нибудь разве только шерстью не поросшего субъекта запрятан тот синеглазый улыбчивый герой, что шагал двадцать лет назад по Европе добрым победителем... Вот уже скоро и граница с Псковской областью – и Ксения так двадцать восемь лет назад подъезжала, и все чаще колотилось ее целеустремленное сердце, и охватывало вдруг малодушное желание выйти на ближайшей остановке и – пересесть на обратный автобус... Не пересела.

Если бы он верил в Бога, то сказал бы про жену, что она была святая. Но их такому не учили – да и что это меняет, в сущности... Он звал ее «мама», а она его – «папа», потому что, в сорок три года родив ему с риском для жизни (врачи, как водится, категорически не рекомендовали: «В вашем возрасте... С вашим сердцем...» – тьфу) сына Ваньку, Ксения получила право на свой маленький хрустальный пьедестал – и он освободил ее от что ни говори, а унижительной для женщины постельной повинности. Уж чего-чего, а этого дела ему и на раскопках, и в свободное время хватало. Если быть с самим собой откровенным – что в нем так баб привлекало, что сами за ним бегали, даже ухаживать почти не приходилось? Рост у него так себе, лицо самое простое, ничуть не запоминающееся, волосы неопределенно пепельные – словом, типичный русак из северных, без предательской карей примеси, раскрасившей в шоколадные тона всяких там рязанцев и пензюков. Глаза, правда, серо-голубые, пронзительные – ну, так это у половины коренных питерцев. Голос зато достался басовито-зычный, как у армейского прапора, но таким только «Стр-ройся!» командовать, да студентов погонять, когда копать ленятся, а не дамам любезности на ушко нашептывать... Но любили, нельзя пожало-

ваться. Ксения же была женщиной редкого и ценного склада, и все понимала правильно: их союз для него – единственное настоящее, и всякие там «лапочки», как сама их, бывало, не взаправду гневаясь, называла – ей не соперницы. Но подробности ее, все же, наверно, ранили бы, поэтому, как всегда деликатно и без слов, она сумела поставить ему молчаливое, но безоговорочно уваженное им условие: шадить ее гордость. Он возражать и не думал: мать его сына – звание наивысшее, поэтому, когда задерживался до одиннадцати, то непременно, войдя в прихожую и скидывая ей на руки тяжелое зимнее пальто на вате, целовал как ни в чем не бывало подставленную щеку и с достоинством сообщал жене: «Устал я, мама, как пес последний. В Публичке сидел, монографию по скифам читал. Давай, что в печи – на стол мечи, я хоть барана съем...». И съедал все до крошки – из почтения к ее труду и пониманию, хотя час назад у какой-нибудь аспирантки был насильственно кормлен в постели эклерами... На лице Ксении никогда не отражалось, что нехитрые его хитрости давно уж ею пересчитаны, и ровно звучал ее домашний грудной голосок: «Ну что, папа, сыт? Или добавки хочешь? Ну, ладно тогда, сейчас чайку подогрею...». С искренним чувством он целовал ей увядающую руку, а она ему – ничуть не польсевшее темя, и говорили за чаем о Ванькиной мымре-учительке, что сживает мальчика со свету почем зря, и прикидывали, хватит ли на покупку нового кресла – а откуда хватит: как перестройка проклятая началась, так, случилось, и ели не досыта... Но ведь все преодолели же – вместе! Если уж не говорить «святая», то почему не сказать – «идеальная»? У других мужиков не жены, а одно огорчение: одна на карьере помешалась, другая, что еще хуже, в политику подалась, третья вдруг великой поэтессой себя вообразила... А у Ксении и здесь была своя, но красивая и простая философия: «Женщине, Ленчик, летать не дано. Она может только встать на цыпочки и помахать руками, будто крыльями. Только пустое это – все равно не взлетит. Проверено, доказано. Зато мужчине, пока он летает, нужно, чтоб на земле его ждали. Вот я и жду, поэтому-то у нас с тобой все так хорошо и выходит». «Прочла где-нибудь?» – удивлялся в очередной раз умиляющийся на жену Ленчик. «Сама придумала», – с легкой гордостью отвечала она. «Хорошо, что у нас сын, а не дочка, – в другой раз убежденно бросала между делом. – С глупостями бороться не придется. Захотела бы институт-ут там какой-нибудь, карьеру, не дай Бог – все они сейчас такие. А ведь для женщины это – прямой вред. Потому что если профессия или работа интересная – так она захватывает, не пускает в семью, к детям... Вот и рушатся семьи, вот и мужья уходят... А ей уж и работа дороже. Или какое-нибудь там... – презрительно, через уголок рта, – творчество надуманное. А работа у женщины должна быть – только для заработка, самая простая. Чтоб дома мысли не отвлекала от главного. Чтоб не крутилось в голове всякое там... Лишнее... Вот я, например...» – и она улыбалась – кокетливо и наивно-торжествующе, зная, как нравятся мужу ее слова, как ладно ложатся на сердце...

Красивая ли была? Глупости. Что такое женская красота? Могут стоять рядом две прямо противоположные друг другу женщины, и обе – красавицы. Или уродки. Тут надо как-то подавать себя, конечно, – Ксения умела. Всегда на ней кофточка какая-нибудь, брошечка... Или что там еще... Волосы не завивала никогда, гладкие были, светлые, блестящие – ближе к пятидесяти стричь их стала под эту, как ее – ну, певицу-то... Мирей Матье! – еще пластинка у них была с фотографией. В общем, «под горшок», как бабка его говорила, – а ведь шло чертовке! Но главное – это глаза, конечно. Особые были глаза у Ксюхи – большущие, иссиня-серые, с голубыми белками, с темными ресницами... И блестели, словно всегда чуть заплаканные, даже когда улыбалась... Беззащитные... За них и выделил ее когда-то.

Сердце на миг сжалось – нет, все-таки больно, какая там «зимняя печаль!». Леонид откинулся в кресле, зажмурился – и стало еще хуже, потому что мысленно увидел ее в гробу. Похожую на большую бабушку Красной Шапочки из давней Ванькиной книжки. С закрытыми глазами и в дурацком колпаке с белыми кружавчиками, что входил в традиционный «женский похоронный набор» – да кто ж выдумал такое издевательство! Знала бы она – и платье, и шарфик бы в тон приготовила... Хотя – не на бал же... Да и как к такому пригодишься...

Ксения пользовалась отменным, завидным здоровьем – во всяком случае, он не помнил, чтобы она на что-то жаловалась. Ну, подхватит иногда простуду какую-нибудь, кашляет тоненько и трогательно: «Кхе! Кхе!», да еще правый локоть последние месяцы побаливал... Он ей лекарство из рекламы сразу притащил – дорогущее. И ничего, помогло, не все, оказывается, в рекламе вранье... Правый бок заболел, как водится, перед самой ночью – она убеждала, что переможется, но, не на шутку испуганный, он впервые не подчинился ей и вызвал «скорую» сам. «Думала, так и помру с неотрезанным аппендиксом – да нет, выходит, придется расставаться...» – подбадривая мужа, шутила Ксюха, когда он вел ее за плечи в роковую белую машину... В больницу поехал с ней, в приемном покое не отпускал родную руку, а когда жену увели в недра районной «истребительной» – не уехал, как иные, с облегчением, а добился неуловимого, как мститель, дежурного врача и долго пытал его в коридоре, будто подозреваемого. И дознался, что никакого аппендицита не обнаружено, а произошел лишь обычный кишечный спазм, и боль уже сняли уколами. Могут хоть сейчас домой отпустить, но неплохо бы до утра понаблюдаться... В вестибюль спустилась спокойная, порозовевшая от облегчения Ксюша и сказала, что боли полностью прошли, но, раз уж все равно привезли и водворили, то уж ладно, «от греха перестраخуется», и нежно велела ему идти спать, о плохом не думать, а Ванечку попросить утречком занести ей зубную щетку («И ничего больше: сразу после обхода – домой!»), потому что чего она вынести не сможет – так это нечищенных зубов, а все остальное ей – плюнуть и растереть. Он крепко спал в ту ночь и ничего не чувствовал – ничегошеньки... А говорят, должен был... Утром решил все-таки занести щетку сам и, размахивая ею, как знаменем, робко сунулся в унылом «третьем хирургическом» в дверь указанной ею третьей же палаты...

Дальнейшие воспоминания причиняли жгучую боль. Кровать Ксении была пуста. Она умерла ранним утром, перед самым подъемом. Нет, никакого аппендицита – просто оторвался тромб. Во сне, без мучений.

– Да что вы тут знаете о смерти во сне! И что такое «без мучений», когда никого рядом не было! – орал Леонид в профессионально каменное лицо врача над ее уже застеленной новым бельем койкой, ожидающей новую жертву. – Может, она задыхалась, металась, хрипела! И никто не слышал, не подошел, не помог!!!

– Я слышала, – раздался тусклый голосок с соседней кровати, и Леонид перевел дикий взгляд на серое, как глина, женское лицо, утонувшее по соседству в неуместно пестрой подушке. – Я вообще не спала. Могу точно сказать, что она тихо лежала, как мышка, а потом один только раз вздохнула поглубже и погромче. И всё – отошла. Смерть праведницы...

В Пскове пришлось пересаживаться, и второй сегодняшний автобус – попроще, местного значения – вскоре бойко поскакал по разбитой грунтовке среди полей. Мысли о Ксюше, которые в первом автобусе кто-то словно писал у него в голове красивым разборчивым почерком, немедленно сбились на каракули, и целый час невозможно было сосредоточиться ни на чем толковом. Ему только все время попадались на глаза – и очень огорчали! – собственные руки, за последний год неуловимо быстро покрывшиеся густым безобразным крапом – а ведь долго оставались вполне приличными, и уж поверил было, что в здоровых генах его, да при общей молоджавости, старческие пятна не заложены... Еще как, оказалось, заложены – а ведь какие красивые руки были: крупные, но замечательно благородного очертания, умеренно загорелые и чуть-чуть мозолистые, так и кричавшие о том, что владелец их – человек хоть и не рабского звания, но ничуть физическим трудом не гнушался, перед простецами не кичился – и о высоком своем предназначении не забывал... Пока сокрушался – уж и время пришло выходить у нужного поворота.

Вылез на узкую обочину, размялся, разгоняя общую скованность. «Что там пятна, – нахально подсказали ему из черепного мрака. – Скоро разогнуться не сможешь, а там и до

костыля рукой подать». «Достал уже! – устало отругнулся Леонид. – Да, так что там я про Ксюшу...». Он стоял в классически сказочном месте: на перекрестке трех пустынных дорог, ведущих в три разные деревни, о чем и сообщал прозаичный сине-белый указатель со стрелками. Приглядевшись к указателю внимательней, он заметил, что некий шутник, вышедший пару лет назад из автобуса на этом же месте (и, скорей всего, не один, потому что работа была проведена немалая), гвоздем или ножиком под каждой стрелкой с названием и километражем четко и жирно процарапал еще и мрачное, как следовало по законам жанра, предостережение. «Налево поедешь – машина сломается», – предрекала подпись под стрелкой влево, указывающей направление на деревню Грязны за 0,5 километра. «Естественно, – обрадовался внутренний голос, с которым Леонид на этот раз полностью согласился. – Если там дорога, как тридцать лет назад, то не только сломается, но и утонет». «Прямо поедешь – деньги пропнешь», – сообщалось под стрелкой, устремленной вперед. Тут Леонид и сам хмыкнул, потому что в двух километрах впереди по шоссе, в деревне Лехно чуть не с петровских времен располагался единственный в этой дикой степи шалман, куда на закате советской власти студенты-археологи по вечерам пешком ходили за «Столичной», – стало быть, вечно прибыльный бизнес процветал и сейчас. «Направо поедешь – за правду умрешь», – сулил поворот направо в деревню Двуполье за 3,7 километра. «Не очень-то и забавно», – обескураженно, что редко с ним за долгие десятилетия случалось, пробормотал невидимый собеседник. Действительно, несомненная правдивость двух первых обещаний предполагала то же и для третьего – а выходила полная ерунда. Даже если и предстояло там умереть – мало ли что, да в его-то возрасте, хотя, конечно, он так скоро не собирался – но почему за правду? «В конце концов, Ивану-царевичу указатель тоже угрожал погибелью – а он на Василисе Прекрасной женился, – подсказал успевший приободриться голос. – Так что предсказание это как раз хорошее. И вообще, сдурел ты, что ли, на старости лет? Василиса твоя – умерла, а ты о чуши какой-то думаешь». Леонид покачал головой, браво вскинул на плечо нетяжелый спортивный рюкзачок и не спеша, экономя и без того подрастраченные за долгую жизнь силы, тронулся в путь по широкой сухой дороге.

Да, Ксения... Экое странное дело! Ведь ему в тот год было уже за пятьдесят! Хотя и кажется теперь, свысока, что чуть ли не парнишкой был – а ведь дедом уже к тому времени заделался, и внучка в первый класс шла! Говорят, невозможно жить начерно, жизнь – всегда беловик, пиши каллиграфически! А вот и нет. До тогдашнего Ксюшиного приезда в Двуполье его жизнь именно такой и была, как черновая рукопись: серая бумага, нечитаемый почерк, кляксы во всю страницу, густо зачеркнутые строки, неожиданные вставки и восклицательные знаки на полях, полное небрежение к орфографии и пунктуации. А с того лета страницы жизни стали как листки, что ловко выплывают нынешние лазерные принтеры: ровный печатный текст, буковка к буковке, где надо – красный заголовок, в нужном месте – курсив...

А ведь черновик рассказывал – странно теперь и вспомнить! – о первом его браке, в котором жилось не так уж и плохо больше четверти века – нелепость, какая-то, дичь, будто и не с ним было. Приехал в шестидесятом из Крыма с раскопок – увлеченный своим делом, молодой, крепкий, от солнца словно облитый с головы до ног молочным шоколадом – лишь огненно-голубые глаза сияли, да пушились ржанные волосы, отросшие за лето и еще хранившие морскую соль... Оголодавший – когда мать позвала к телефону, с аппетитом поедая хрустящий «Городской» батон, разрезанный вдоль и любовно накрытый несколькими толстыми, с аппетитными жиринками кусками «Любительской»... И вдруг непонятная и неуместная Даша (потребовалось напрямч память, чтобы вспомнить – ах да, та, с шестимесячной завивкой, еще у Толяна дома познакомился; в начале лета, перед дипломом, несколько раз на дачу ее с собой со скуки возил, когда мать велела вещи какие-то туда доставлять) взволнованно потребовала какой-то мелодраматической «срочной встречи» и «серьезного разговора»... А он в те минуты всем сердцем был в лаборатории, куда привезли уже, конечно, их тщательно упакованные и описанные находки, в голове только и стучало: неужели подтвердится – или...? (Забегая вперед

– еще как подтвердилось – да так, что после фамилий титулованных авторов солидной статьи о маленькой научной сенсации его фамилия была напечатана со всем уважением, целиком и при инициалах, а не скрылась в унизительном довеске «и др.»). «Не получится, – преувеличенно холодно, чтобы сразу расставить все по местам, ответил девушке Леонид. – Я сейчас очень занят наукой. И не могу ни с кем ни встречаться, ни разговаривать». Подумал еще, что никакой гордости у нее – надо же, сама парню звонит, вообще стыд потеряла. И даже слушать не стал – повесил трубку, да и пошел себе батон доедать...

Но, когда вернулся из лаборатории домой к ужину, выяснилось, что ужина никакого нет, зато в гостиной у них, откинувшись от пустого стола вместе с тщедушным стульчиком и накренная мощным торсом отшатнувшийся к стенке модный торшер, насуплено сидит средних лет с тяжелым взглядом мужчина. При виде воспитанно поздоровавшегося Лени он с презрительным криком встал. «Я вам все сказал – теперь сами решайте», – процедил, мотнув головой в сторону странно поникших родителей и, грузно попирая веселый светлый паркет, зашагал к двери, не удостоив молодого человека и кивком. Вслед за ним метнулась, хрестоматийно промокая концом фартука глаза, бледная, как убегающее молоко, мама... Выражение лица папы было Леониду очень хорошо знакомо с послевоенных школьных лет, когда, излазив с папанвой все окрестные чердаки и подвалы, он, чумазый, с отколотым зубом и надорванным рукавом, наконец, возвращался поздно вечером домой. Несделанные уроки не позволяли ему предаваться удовольствиям безоглядно, но мужская дружба и замечательные приключения того стоили – а родитель молча выходил в коридор, уже держа наготове свой верный фронтальной ремень...

– Ты знаешь, кто ее отец? – без гнева и осуждения, так же хладнокровно, как порол сына в детстве, спросил он и сам же ответил: – Завотделом горкома.

– Чей? – пискнул искренне недоумевающий сын.

– Девушки Даши, которую ты соблазнил и бросил беременную, – так же спокойно пояснил отец.

Леня икнул, и сразу же пронеслось смазанное воспоминание о том, как Даша (кажется, именно она, потому что на дачу он еще с одной тогда ездил, но на ту уж точно не подумаешь) придурковато-счастливо шептала ему в гремящей соловьями ночи: «Ты у меня первый, представляешь, первый!» – а ему спать до одури хотелось, он и внимания не обратил.

– И... что же мне теперь делать, папа? – малодушно спросил он.

– А – всё, – развел руками тот, ничуть не изменив деревянного выражения лица. – Все, что мог, ты уже сделал. Теперь остается только закрепить содеянное штампом в паспорте. Кстати, многие тебе бы еще и позавидовали.

– Да я сейчас уже не уверен, что в лицо бы ее на улице узнал! – отчаянно прошептал Леня.

– Всё, – с легким нажимом повторил отец. – К свадьбе, кретин, готовься. Потому что иначе не только тебя – что еще и полбеда было бы – но и меня эта сволочь в порошок сотрет. А женишься без выкрутасов – карьера, считай, в кармане. Да и я из замов выберусь, наконец, и директору сверху на лысину плюну...

Та карьера, о которой мечтал для сына отец – мирно-кабинетная, пыльная, уверенно ведущая вперед и вверх, Леонида не прельщала никогда. В душе он навсегда остался вечно холостым романтиком и бродягой, без колебаний предпочитавшим тыловому книжному прозябанию трудные экспедиции и изнурительные раскопки с их малыми и большими радостями, случайными победами и серьезными открытиями – но две беспроblemные защиты чиновный тесть, спасибо ему, обеспечил. Да и к родившейся дочке Светочке (Господи, Боже ты мой – она в том году на пенсию выходит! – выстрелила вдруг оглушительная мысль) Леонид привязался нешуточно, тетешкал ее и баловал, благодаря чему и маму ее, а свою жену Дарью вскоре стал считать вполне сносной и лучшей не желал. Она и была такой – тихой, домашней, ухоженной, в душу ему не лезла, с наставлениями не совалась. Жила своей чистой жизнью – дочка, хозяй-

ство (няня и домработница с поваром были у них как само собой, чуть ли не бесплатные – отцу ее вроде бы от государства полагались), подруги какие-то из партийных жен, портнихи всякие, парикмахерши... Он мешать и не думал, даже в театр с ней, когда просила, таскался, перед тещей и тестем раз в месяц показывался в роли примерного мужа – все как положено... Не чуждались друг друга, со временем вроде как и подружились даже, она и посоветовать могла ненавязчиво, и дочку в уважении к отцу вырастила... В общем, о той соловьиной ночи он не то что не жалел никогда, а даже радовался, что «по залету» окрутили: ни в жизнь бы такой партии не сделал по сердечной склонности! Сам жил любимой работой, с удовольствием учил студентов археологическим премудростям – на занятиях его аудитория всегда была полна горячей в своем интересе молодежи, а когда экзамены принимал – по-пустому не зверствовал. На раскопках орудовал совковой лопатой, не чинясь, строго следил при этом, чтоб тяжелой работы – всем поровну, за кисточки-щеточки брался последним, был справедлив и приветлив. За женщинами не гонялся – любовница-наука соперниц не имела – но, если какая сама намеки делала – отзывался охотно: коли бабе нейдет – отчего ж и ее, и себя не порадовать?

Все-таки отмахать без отдыха два километра – где вы, те благословенные годы, когда десять шутя наматывал, да и не с таким рюкзаком за плечами! – в конце восьмого десятка оказалось делом весьма затруднительным. Нет, если бы он с кем-то шел, то ни за что не допустил бы никакого привала для слабаков, наоборот, еще и пристыдил бы пожаловавшегося на усталость младшего путника: «Эх ты, в твоём-то возрасте! Посмотри на меня: я на двадцать лет старше, а вон как топаю. Потому что – привычка». Но рядом никого не было, а внутренний голос ему давно уже разъяснил, что к чему: и про внезапные инфаркты у разных самонадеянных почти восьмидесятилетних попрыгунчиков – тоже. Поэтому, когда дорога выскочила из белой рощи с окрепшими и раздавшимися за двадцать восемь лет вечными девственницами-березами, Леонид решительно двинулся к двум знакомым – стол и стул, как специально сделаны – валунам, о которых все эти годы ни разу не вспомнил, но, увидев их, возрадовался прямо жгуче: сел на малый, большой едва ли не обнял... Из рюкзака достал бутылочку минералки, пластиковую коробку с бутербродами – сын Ванька в дорогу настрогал, как дрова рубил, не по-Ксюшиному, аккуратными ломтиками. Вспомнил сразу же *те* ее бутерброды, *тогда* сюда привезенные, завернутые в несколько слоев «Известий» – и вареные яйца сохраняли еще слабое домашнее тепло... Ванькины были с безвкусной сухой ветчиной, а растаявшее масло перемазало толстые куски черного хлеба со всех сторон – так что и пальцы испачкал. Женить пора парня... Особенно теперь, когда матери нет...

Страшно сказать – а ведь Ксению он многие годы в упор не замечал, хотя и виделась буквально каждый день на родной кафедре археологии. Ну, сидит себе секретарша за машинкой, равнодушно здоровался... Все-таки не его был круг: он, с тридцати лет доктор наук, с сорока – профессор, образованных предпочитал, аспиранток, в основном, – молоденьких, кругленьких и веселых, как яблочко. Но чтоб обязательно поговорить можно было о разном, понимание встретить – да и вообще приятней; а секретарша – она ведь где-то чуть выше уборщицы.

Но однажды заболела верная машинистка, что десятилетиями перепечатывала его труды – а ему, как на грех, нужно было срочно сдавать в журнал тридцатистраничную статью – сам-то он одним пальцем всю жизнь печатал. «Да вон хоть Ксюхе халтурку дай, – от души посоветовал кто-то на кафедре, кивнув на прилежную головку, склоненную над железным монстром пишущей машинки. – За ночь настукает».

Так оно и вышло. Только, отдавая ему готовую работу, неяркая эта женщина подняла на него застенчивые влажные глаза и робко проговорила:

– Там у вас... Я заметила несколько фраз – не совсем удачных... С грамматической, так сказать, точки зрения... И взяла на себя смелость исправить... Немножечко...

Леонид вспыхнул – да что она себе позволяет! Мозгов, как у мыши, а смеет исправлять у него, у профессора! Всю статью, наверное, заporола, теперь точно к сроку не успеть! Резким гневным движением он выхватил из ее рук машинописные листы и начальственно рявкнул:

– Где?! Покажите, что вы мне тут натворили!

Пробежал глазами указанные места. Гм... А ведь как-то неуловимо доходчивей стало, читается легче... Мысли те же самые, только какие-то более выпуклые, яркие, что ли... Да и сама ничего... Тоцевата слегка – ну, да ладно... Зато ножки какие, лодыжки тонкие... Лицо хорошее, глазки умненькие... Ага, колечко обручальное на пальчике – меньше проблем, если что: к жене ревновать не будет... Вслух буркнул подобранным тоном:

– Ладно, сойдет; смысл не исказили – и то хорошо...

В те минуты и вообразить не мог, что не она его к жене, а он ее к мужу ревновать станет! Что годом позже холодным балтийским летом будет метаться по маленькой комнатке гостиницы в Юрмале и, едва сдерживая до громкого шепота свой громокипящий голос, почти истерически упрекать ее:

– Как тебе самой не противно – с двумя мужчинами попеременно! Сама же говорила, что он дурак, ублюдок, что ты его презираешь! Что живешь с ним только ради сына! Думаешь, сын, когда вырастет, спасибо тебе скажет?! Да он и не поймет ничего, все примет как должное – это я тебе говорю! А ведь могла бы со мной стать по-настоящему счастливой, жить полной жизнью, а не скитаться по случайным пристанищам!

– Но ведь ты тоже не уходишь от жены ради меня! Хотя ребенок у тебя, в отличие от моего, почти взрослый! Почему ты сам не разводишься, а от меня требуешь? – тихо и робко станет возражать Ксения.

– Ну, как ты не понимаешь, что это совершенно не одно и то же! – буквально взвывает он, пораженный ее упорным нежеланием понимать очевидное. – У меня на жену и карьера, и вообще все в жизни завязано! Решит отомстить – и конец мне по всем статьям сразу! А вот тебя-то что рядом с ним держит?! Не верю, что только сын!.. А может, ты им просто прикрываешься? А сама хочешь сразу с двоих мужиков сливки снимать?!

– Мне страшно, страшно... – заплачет она... – Я все боюсь, что вдруг я с Жорой разведусь, все разрушу, а тебе надоем... Бросишь ты меня ради очередной молоденькой, и останусь я, дура, у разбитого корыта...

Он и сам не знал, когда и как успел прикипеть к ней до такой степени, что возжелал держать при себе на постоянной основе, не деля ни с кем и ничего не опасаясь. А может быть, Ксения просто случайно оказалась в его жизни именно в тот момент, когда настигает мужчину закономерная задумчивая усталость, и среди всегда беспокойного житейского моря тревожный взгляд его невольно ищет на горизонте четкие очертания надежного берега – пусть чужого, но ведь и он может стать родным.

Начиналось-то все, как всегда: кафе, шампанское с пирожными; просилась в театр – отговорился нелюбовью – в затрапезный не хотелось, а в приличном как раз плюнуть на знакомых нарваться. Вообще в личных делах своих, строго соблюдая конспирацию, он никогда не рисковал пользоваться широчайшими возможностями жены – потому и приходилось часто переносить когда смешные, а когда унижительные тяготы, на каждом шагу подстерегавшие рядового гражданина. Вспомнить хотя бы все те же гостиницы, где требовалось предъявлять паспорт со штампом о законном браке, и даже вложенный в него четвертной билет не гарантированно спасал от бдительного звонка «куда следует». Поэтому гостиницами пользовались только в полузападных прибалтийских республиках, где администраторы смотрели с одинаковым презрительным прищуром – да и то приноровились ездить туда двумя незаконно влюбленными парами. Очень просто: независимо брали два двухместных номера – один мужской, другой женский – и под покровом темноты и все тем же администраторским прищуром, приобретавшим к ночи снисходительный оттенок, перемещались сначала в одну комнату – побало-

ваться «Рижским бальзамом» и дивными местными марципанами, а потом уж расходились каждый по принадлежности... Проще было с мягкими купе в «Красной стреле» – но только тесно, неудобно, да и Ксения всякий раз неуклюже пунцовела на недобро-испытующий проводницын вопрос: «Поменяться, гражданка, не желаете, чтобы с женщиной ехать?». Подумали было, что нашли легкий способ обмануть всевидящее око Большого Брата, иногда отправляясь на теплоходе в невинные Кижы – но только до того жуткого случая, когда пришлось безвылазно просидеть в своей каюте двое суток, потому что повезло ему вовремя заметить, как из номера «Люкс» высокомерно выходит с любовником едва ли достигшая совершеннолетия дочь одного из знакомых горкомовских инструкторов... Он тогда даже в ресторан выходить не решился – впрочем, не голодали, конечно, да и отнеслись как к волнующему приключению: «сухпак»-то семейный (колбаски твердой палочка, «Арарат» любимый, янтарный балычок из осетра, икорки черной пара баночек, ну, и «Виолы» там сколько-то – сам не свой до нее был) он всегда захватывал с собой в портфеле, потому что одна мысль об общедоступной ресторанной кормежке причиняла страдание...

Если хорошо Леониду было с женщиной – никогда не задумывался он о том, как и когда все это закончится; знал, что всякому увлечению положен свой срок – и от чего зависит это, не гадал. Обычно все само как-то рассасывалось: незаметно защищалась симпатичная аспирантка, переводилась в другой вуз молодая преподавательница, увозил военный муж к месту службы красивую пышечку-доктора... Ксения же всегда была – вот она: стрекошет на своей грозной «Ятрани», красиво склонив набок аккуратную головку, а когда проходит через кабинет он, ее возлюбленный, – поднимает ясный взгляд и незаметно улыбается... Оказывала она ему и вроде бы мелкие, а на деле бесценные услуги: находила, упорно прозванивая десятки номеров, кого-то неуловимого, служила безотказным передаточным пунктом для разных его бумаг, конвертов и пакетов – когда попробуй, поймай того, кому они предназначены – а Ксения тут как тут: не волнуйтесь, Леонид Палыч, я передам – и он знал, что можно больше не беспокоиться. А уж печатала ему все в первую очередь, отодвинув и срочные задания завкафедрой. Работал он много и почерк имел невозможный, так что и опытные машинистки порой возмущались... И стал Леонид считать Ксению своей полной собственностью – с одним только не мог смириться: что этот ее поганый муж-инженеришка из какого-то вонючего КБ (не удержался, съездил раз глянуть – так и есть: козел козлом в шляпе ширпотребовской и пальтишке «накусь-выкуси») по ночам ее истязает своими гнусными ласками. Вот в абортарий она раза три бегала – Леонид ей каждый раз по четвертаку давал без всяких там – говорила, от него, да пойди проверь... В общем, сломал ее, засовестил – и развелась со своим уродом, никуда не делась. Леонид сразу по-честному с ней рассчитался: купил однокомнатный кооператив, первый взнос оплатил, потому что не возвращаться же ей было в отчий дом – ветхую живопырку без ванной. Сын, четырнадцатилетний лохматый парень, уже наживший грязноватую полоску под носом, к матери переехать отказался, демонстративно выбрал отца-хлюпика (тот, понятно, его настроил – мол, мать предала их), а потом и вовсе в Нахимовское поступил. Это Леониду нравилось: никто под ногами в их новом гнездышке не путался, ежедневной заботы, стирок-кормежек не требовал, внимание на себя не оттягивал, волком на мамино друга не смотрел. Уж что-что – а гнезда она вить умела и, свое потихоньку оплакав (он в утешение ей тогда кольцо с сапфиром за восемьсот рублей подарил), обжилась на новом месте – и знай себе закружилась по собственному нежданному дому, захлопотала – а он ей то денежку, то вещичку редкую подбрасывал, нормальными продуктами бесперебойно снабжал... Ксения помаленьку округлилась, поздоровела, ночными халтурками изводить себя перестала, после работы сразу домой неслась – все приготовить и ждать, пока он на часок заскочет... Ждала, то и дело подбегая к окну, напряженно слушая улицу – и скоро уже начала узнавать шорох шин его въезжающей во двор новой желтой «шестерки» и радостно махала ему, идущему к подъезду, из-за шелковисто-плюшевой портьеры...

В те уютные годы всерьез увлекался Леонид культурой Псковских длинных курганов – казалось бы, за сто пятьдесят последних лет вдоль и поперек перепаханных – ан нет: случилось, случилось ему и вздрогнуть иной раз, когда внезапно отчетливо видел, как Мать-История вдруг с кряхтением поворачивается к нему другим боком: на, мол, погляди, раз такой дотошный. Когда, например, вдруг обнаруживалось под его недоверчивой щеточкой в пограничном захоронении ну совершенно там неположенное архаичное каменное кресало – или радиоуглеродная дата труповложения насмешливо не соответствовала исторически доказанному возрасту полного комплекта женских погребальных украшений... А только что обнаруженный рядом был точно таким же – но на двести лет старше! Будто какая-то машина времени у них там действовала на близкие расстояния – и знобкая змейка восторга бежала по согбенной под солнцем спине... Копал, извлекал, описывал, отправлял – не разучившись мальчишески восторгаться своей властью над временем... И то сказать: вот эта оплавленная синяя бусина, найденная среди грустной кучки полусгоревших-полуистлевших женских костей, и в зеленую шубу древности завернутый медный наконечник у черного черепа... Не может быть, а точно – любовно касалась их тысячу лет назад юная женщина... Наряжалась, покорная доисторическому инстинкту, узким звериным оком смотрела на молодой мир, не умея разобраться в простейших понятиях, пугаясь каждого шороха – и сама готовая убить и освежевать врага, ничуть не дрогнув дремучим сердцем... И умерла молодой – просто потому что все тогда рано умирали... И вообще, если глянуть на мир философски, оттолкнувшись хотя бы от находок в древних захоронениях, то получалось, что из многих миллиардов людей, дышавших воздухом на этой планете с момента ее появления, очень и очень немногим удалось просто вырасти, и еще меньше перевалило тридцатилетний рубеж... Можно сказать, процентов десять от всех родившихся... Так что он – редкий счастливчик из достигших достойной зрелости... Избранник, можно сказать... Вот и трудился, философствовал...

И такого удара не ожидал – совсем как в подзабытом шестидесятом, когда, ни единой сединки еще в голове не имея, вернулся из Крыма. Приехал со Псковщины радостный, как и тогда; по дороге к Ксении заскочил, убедился, что так же, как и три месяца назад, она мчитя к окну на звук его машины – и поехал домой, отдать честный супружеский долг – да и про дочку узнать, Светлану – как там с новым мужем у нее дела...

Даша молча смотрела, неприятно, по-бабьи подперевшись, как он ест любимый суп с фрикадельками, специально заказанный к его приезду, недовольно косилась на медленную свою горничную («Ну, пусть поменяет ее, если не нравится, зачем перед мужем с кислой миной сидеть!» – мелькнула, помнится, равнодушная мысль), а когда та убралась, наконец, со своими тарелками, вдруг серьезно и тускло глянула Леониду в лицо и безо всякого предисловия брякнула:

– Слушай, мне нужен развод. Ты согласен в Загсе развестись или судиться будем? Сразу предупреждаю – если судиться, то отец мой, хочешь не хочешь, а всю правду узнает. И тогда пеняй на себя.

– Какой развод? Какую правду? Ты что, рехнулась? – оторопел от неожиданности Леонид.

– Обычный, – сухо пояснила жена. – Потому что я давно люблю другого человека – настоящего, имею в виду – и не могу допустить, чтобы он устал ждать меня. Три года я не решалась на это – из-за Светочки. Сам знаешь, как она кричала из-за того мерзавца: «Я жить не буду! Я убью себя!» – (Он, конечно, слышал те девические вопли, но о возможной их серьезности и не помышлял). – И добить ее разводом родителей я не могла, конечно... А теперь, когда у нее нормальный – тьфу-тьфу-тьфу-не сглазить – муж, который и девочку ее обожает... О, теперь я имею право вспомнить и о себе!

– Подожди-подожди... Какого это «другого человека»... – силным шепотом начал было пропустивший все остальное мимо ушей Леонид, но вдруг, в один острый миг захлебнувшись оскорблением и потому утратив свой грозный баритон, заорал истеричным фальцетом: – Ты

чего – любовника, что ли, завела себе, дрянь?!?! Три года назад еще?! И вот так спокойно мужу живому об этом говоришь?! Бабка пятидесятилетняя, старуха уже, внучка есть – и туда же, передок зачесался!!! Какой еще развод – я тебе без всякого развода башку сейчас сверну!!! – и он, не соображая, приподнялся было со стула.

– Только тронь, – не повышая голоса и не двигаясь, сказала Даша. – На той неделе безработным станешь, а с партией родной еще раньше попрощаешься.

– И что, по-твоему, – мгновенно укротившись на треть, но зато продышавшись, все еще напористо загорланил он, – я должен вот так просто проглотить свой позор?! Уползти оплеванным и еще спасибо сказать, что пинков не надавали?! И не смей сказать старику-отцу, что его дочь – потаскуха?!!

– А сам ты откуда сейчас ко мне пришел – забыл уже? – насмешливо спросила она. – Напомнить?

– Ах, во-от что... – задохнулся он, как от пощечины. – Ты ко мне, оказывается, шпионов приставила... Ну, расска-азывай, расска-азывай, дорогая... Насколько еще простирается твоя ни-изость... Давай уж сразу... Чтoб я узнал, наконец, с кем четверть века прожил...

Даша выглядела озадаченной:

– Мне действительно интересно узнать – ты всерьез считаешь, что можешь встречаться, где и с кем хочешь, а я должна всю жизнь просуществовать при тебе, как довесок, и сдохнуть так никогда никем и не полюбленной?

Он подскочил к жене и, зверски оскалившись, затряс указательным пальцем у нее перед носом:

– Это разные вещи! Раз-ны-е! Способна ты понять это куриными твоими мозгами?! Просто каждому мужчине нужно иногда расслабиться! Любая умная баба закрывает на это глаза и живет счастливо! А если жена гуляет – то это всё! Это значит, что она попросту шлюха, и ничего больше!!! – помолчал, взял себя в руки и глухо закончил: – Если ты сейчас же... вот прямо сейчас, при мне, позвонишь... этому своему... и скажешь, что передумала, и пусть он убирается к чертям собачьим или куда хочешь... И дашь мне слово, что больше никогда... Никогда... То я буду считать, что ничего не слышал... И все останется по-прежнему... А если нет...

– Нет, – спокойно и нагло ответила она. – И что дальше?

А дальше Леонида заставили подписать унижительное согласие на развод, потом, как бросают кусок мяса с наперсток пожизненно голодному льву на арене, чтоб заставить его проделывать противоестественные трюки, кинули ему захудалую однокомнатную квартиру в спальном районе – хуже, чем он лично в свое время Ксении купил – милостиво сохранили за ним работу, партбилет и научные звания – а потом он запил на неделю, раздавленный, уязвленный... И к Ксении больше идти не хотелось. Он понимал, что сильный человек в подобных обстоятельствах обязан начать новую жизнь; это требовало сильного вдоха, глубокого глотка свежего воздуха – но сначала ведь следовало выдохнуть. И тот мощный трагический выдох, казалось, унес из него навсегда и в никуда и облагодетельствованную им, но прошлому принадлежавшую любовницу, и несостоявшуюся семью, и даже далекую малознакомую внучку...

Через неделю он кое-как оправился, как пес, отлеживавшийся от побоев в вонючей конуре, сходил в местную парикмахерскую, ужаснувшись там мимоходом тем новым общегражданским условиям, в которых отныне предстояло жить, надел ненавистный (всегда ходил в стильных свитерах) итальянский костюм... Предстояла научная конференция памяти легендарного Журавлева, которого Леонид, никогда в жизни не удостоившийся высокого знакомства с этим гордым, непонятно как выжившим в лихолетье ученым, все-таки считал одним из своих немногочисленных учителей.

Глава вторая

Откуда ему было знать, что его там ждет...

Ее папа был такой старенький, что своими глазами видел революцию, участвовал в гражданской войне (правда, довольно бесславно), а Великую Отечественную встретил зрелым мужчиной-вдовцом. Благодаря ему, она ничуть не сомневалась, делясь опасной тайной только с самыми проверенными подругами, что никакого штурма Зимнего вообще в истории не было, а, как, ничуть не стесняясь юной дочери, говорил папа, просто «пьяная матросня ворвалась во дворец, насилуя добровольцев из женского батальона, подвернувшихся на пути, пока не наткнулась на зал заседаний Временного правительства». Следующим летом тщедушный питерский студент Коленька Журавлев, до того проявлявший принципиальное равнодушие к политике и демонстративно интересовавшийся только молчаливо-красноречивыми древностями, неожиданно ни для кого в один день переменяя мнение и собравшись в путь, оказался в рядах самонадеянной на первых порах Добровольческой Армии (ну, не считать же было, в самом деле, серьезным противником эту разнородную и плохо вооруженную толпу сбитых с толку инородцами несмышленных, как дети, молодых мужиков). К счастью для восемнадцатилетнего Коленьки и запрограммированной на далекое будущее его единственной дочери Вероники, до первого боя дело так и не дошло, потому что красные захватили его в плен еще во время убийственно трудного с непривычки марш-броска – зазевавшегося у соблазнительного колодца, обнаруженного чуть в стороне от пути следования колонны. О чем выпытывать на допросе у свалившегося им как снег на голову пленного рядового, белобрысые мальчишки, его ровесники, не имели никакого понятия и потому, с напускной грозностью немножко поспорив для порядка о том, не пустить ли «беляка» за ненадобностью сразу в расход, на всякий случай заперли его на ночь в дощатом сарае, не пожалев для узника даже охапки свежего сена, глиняной крынки с водой и осьмушки в его же подсумке обнаруженного хлеба. Гражданская война только начиналась, и они, вероятно, просто не привыкли еще четвертовать без суда и следствия своих недавних совсем не жестоких господ, ожидали в ближайшем будущем, покамест поигрывая на свободе в мировую революцию, неминуемого возвращения мира на круги своя – и заслуженной порки в конюшне за плохое поведение. Один из них углядел на шее перепуганного барчука золотую цепочку от крестика, обождал, пока вокруг уляжется легкая буча – и припал к самой крупной щели хлипкого сарайчика, громким шепотом предлагая выгодную сделку: ему – золотой барский крест с все равно обреченной шеи, паничу – отодвинутая снаружи щеколда и оловянный крестик на шнурке в придачу, потому как оба они православные – а куда ж русскому человеку без креста... Словом, крестами обменялись, невольно побратавшись, прямо через щель, ну, а дверь была честно отперта теплой и безлунной, как специально созданной для побегов, ночью... Это маленькое, но до крови пощекотавшее нервы приключение мгновенно отбило охоту к ратным подвигам у довольно гладко добравшегося до Петрограда Николая Журавлева.

Его страстно увлеченной художественной литературой дочке Веронике, родившейся во втором браке отца (от первого осталась только смазано-серая фотография невнятной женщины в шляпке-кастрюльке), когда тот уже уверенной поступью дошел до середины собственного шестого десятка, казалось, что, написав эту романтическую историю обмена крестами на грани жизни и смерти, жизнь грубо нарушила законы жанра. Словно сказала «а» и забыла про «б». Ника – такое гордое, победное сокращение своего жалкого женственного имени девочка придумала сама, и взрослые вынужденно смирились – рано постигла тайны литературных скрытых смыслов и подводных течений. Она точно знала, что безымянный красноармеец, получивший от ее отца драгоценный крест в обмен на собственный – жалкий оловянный, просто обязан был (но никогда этого не сделал, гад!) в некий драматический момент появиться в жизни своего нечаянного побратима. На таком соблазнительном факте можно было бы построить совсем

нехилый рассказ – если бы она, конечно, собиралась в писатели, а не в художники. Но еще по школьным сочинениям, особенно тем, на которые отводились сразу два урока литературы подряд, она с сожалением постигла одно из своих не очень ценных качеств: раскатившись в первые двадцать минут жарким бегучим текстом, она уже к концу первого урока окончательно сдувалась, теряла интерес к написанному, еле-еле выдавливая из себя скучные серые фразы – и, несомненно, давно бы бросила сочинение, если бы не требовалось присобачить к нему какой-нибудь скомканный конец. От проверки и правки уж и вовсе с души воротило – и хорошо еще, если ставили за все нетвердую четверку. Писатель же должен торчать за столом часами, а потом еще бесконечно редактировать написанное... бр-р... И как только папа долбил эти свои бесконечные монографии; по ней – так лучше романтические раскопки, с бумажками пусть возится какая-нибудь посредственность!

Изостудия при Дворце Пионеров, куда, поддавшись на бесконечные Никины упрасивания, все-таки отвела ее не одобрявшая внучкиной гуманитарности бабушка, тоже оказалась вовсе не местом бурного расцвета ее таланта. Вместо того чтобы, заглянув в победно распахнутую перед ней папку с работами, побледнеть и ахнуть: «Какая мощная кисть! Какое цветочное чутье! Да эта девушка – (Нике тогда едва исполнилось одиннадцать, но слово «девочка» было давно и с позором изгнано из ее внутреннего и внешнего словаря) – мало того, что красавица – да еще и огромный талант!» – похожая на облезлую шимпанзе преподавательница вяло перебрала рисунки и промямлила в сторону одобрительно кивавшей бабушки: «Не вижу никаких данных. Обычно даже у младших школьников перспектива интуитивно менее искажена и присутствуют начатки композиции. Здесь же полная сумятица – а ведь ребенок уже в пятом классе». Слезы брызнули двумя толстыми горячими струями без всякой подготовки в виде предварительного накипания и пощипывания – и особенно болезненным, как незаслуженный удар линейкой по пальцам (практиковался математичкой на лентях), было отвратительное слово «ребенок». Она не ребенок! Она ослепительная красавица-художник с тяжелыми глубоко рыжими волосами, сливочной кожей без плебейских веснушек и ярко-зелеными лужайками глаз! Она – Ника, олицетворение победы! И не позволит всяким там... старым дурам... Но слезы неудержимо заливали ее, как недавно ржавая вода из прорвавшейся трубы – их замечательный, пахнувший свежим лаком паркет. Но бабушка никогда не могла выдержать внезапных внучкиных слез, особенно в последний год, после того, как похоронили ее молодую дочку, Никину несчастную маму. Поэтому, хоть и считала недопустимой блажью глупое помешательство на рисовании – вместо достойного хобби, со временем переросшего бы в уважаемую профессию – биолога, например, или медика – чем плохо для женщины! – бабушка, сама заморгав слезами, тихонько отвела Шимпанзе в сторону. Увлеченная рыданиями Ника не смогла оценить по достоинству отрывочно доносившееся до нее сдержанное бабушкино бормотание: «Как исключение... Ей самой через месяц надоест, она и бросит... Без матери уже год... Отец весь в науку ушел... Из-за внешности переживает очень – видите, какая она у нас страшенькая, прямо беда...». Опомнилась и проглотила последние сопли, только когда Шимпанзе (потом Ника всех студийцев научит этой кличке) подошла к ней и, собрав в смешную кучку все морщинки, что, должно быть, означало улыбку, почти ласково сказала: «Хорошо, Вероника, – девчонка хотела было сунуться с поправкой, но сразу почувствовала, что с этим следует обождавать. – Мы тебя пока принимаем. Но, дружок... – в голосе почувствовалась смутная опасность. – Про кисть и гуашь придется забыть надолго. И приготовься – работать будешь много и скучно. С самой первой ступени. Карандашом и клячкой. Одно и то же. Изо дня в день». Ника снисходительно кивнула, за время рыданий успев придумать полностью удовлетворившее ее объяснение: эта макака просто поставлена здесь, чтобы не пропускать настоящие живые таланты; у нее полна студия бездарностей, таких же, как она сама – зачем ей кто-то по настоящему одаренный, ведь на его фоне разом станет видна цена остальных; говорил же папа, уезжая последний раз в Крым искать золото скифов, – запомни, мол, дочь: хочешь достичь

чего-то большего, чем похвала за вкусный борщ – приготовься преодолевать препятствия с первого шага... Тут Ника сознательно недовспомнила окончание этой, несомненно, правильной заповеди, потому что заканчивалась она так: «...и не вздумай реветь – никогда, что бы ни случилось, слышишь? Плачет только слабак и неудачник, а такой всегда достоин презрения». Это она один раз, это случайно вышло, от неожиданности... Чур, не считается...

Папа действительно не плакал на похоронах мамы, своей драгоценной второй жены Зиночки, которая была моложе его на тридцать лет. Ника тоже не плакала – хотя слетевшиеся на труп, как чайки на дохлую рыбу, посторонние тетки одна за другой хищно хватили вежливо отдирающуюся сиротку, и, даже вырывая ее друг у друга, прижимали к своим обширным неприятно пахнущим грудям: «Поплачь, маленькая, поплачь! Поплачь – легче будет!». И каждая мечтала, чтобы Ника – какая гадость! – расплакалась именно на ее груди. А не плакала десятилетняя девочка не потому, что ей не жалко было свою милую и хорошую маму, а потому что та носатая, желтушная, с свалившимися щеками старушка в гробу – невесть зачем глухо повязанная незнакомым белым платком и с полоской бумаги поперек голого лба – не имела никакого отношения к ее жизнерадостной тридцатипятилетней маме – круглолицей, румяной, белозубой, в крупных солнечных локонах Суламифи... И вообще казалось, что происходит странное недоразумение – во всяком случае, никто не заставит ее подойти вслед за отцом и поцеловать дурацкую бумажку на лбу у незнакомой покойницы. Поэтому, когда Нику стали подталкивать к гробу, она специально уперлась ногами, напрягла спину – и сразу была отпущена: «Не заставляй малышку – не видишь, она просто окаменела от горя!».

Папа потом говорил ночью на кухне выплаканной до дна бабушке, что поверил в смерть Зины только на похоронах, когда увидел ее мертвую, – а вот Ника именно на похоронах и разуверилась в смерти матери: как папа не заметил, что им подсунули какую-то чужую старуху вместо мамы! Потому несколько лет, до самой первой любви, когда не до того стало, Ника почти честно ждала дверного звонка. Она придумала за эти годы минимум две вполне правдоподобные версии маминого исчезновения и возвращения – ну, например, ее ни за что арестовали, продержали три года в тюрьме, разобрались и выпустили – она пришла усталая, надломленная, теперь родным предстоит ее выхаживать... Недаром же папа не плакал у гроба – все это был спектакль, затеянный специально для Ники, чтобы она не лягнула про арест при ком не следует: думали, она маленькая и ничего не соображает, а у них в классе все давно знают, что уже десять лет как возвращаются домой несправедливо арестованные люди, и ничего в этом нет особенного... А может, болезнь, с которой маму тогда, перед праздником, увезли на «скорой», оказалась тяжелой и заразной, ее отправили на долгое мучительное лечение куда-то в далекий горный санаторий, не надеясь на выздоровление, оттого и обманули Нику, чтобы она напрасно не ждала и не терзалась – а мама взяла и поправилась, и вот, преодолев трудности и страдания, добралась домой... Были и другие истории, пусть не такие достоверные, но тоже надежно занимавшие Нику долгие бессонные часы в постели, когда в темноте постепенно проступали нецветные очертания знакомых, но странно враждебных вещей, и квадратный железный будильник безжалостно отстукивал последние минуты ее так и не пришедшего сна...

Со временем она узнала, конечно, что ее мама Зина умерла от отека легких, до которого неосмотрительно довела себя сама, потому что успела нахвататься где-то передовых идей того сорта, что любое лекарство – яд, а организм обязан сам побеждать недуги с помощью разве что вкусных травяных настоев и надежной народной медицины... Именно так (запаренным в термосе шиповником и контрабандно добытым барсучьим жиром) она и лечила полгода свой изнурительный, напавший еще мокрым летом на раскопках кашель, который то затихал ненадолго («Что я говорила – прошел без всяких таблеток!»), то вдруг начинал рваться из нее сериями грохочущих залпов, словно внутри у мамы сидела маленькая, безостановочно палившая пушка – и тогда она заваривала новый, чудодейственный сорт грудного сбора... «Скорую» пришлось вызывать в ранних сумерках тридцать первого декабря, в самый разгар предново-

годней стряпни и уборки, когда Ника только что соорудила для елки красивую голову клоуна в звездастом колпаке – из сырого яйца, выпитого бабулей через маленькую дырочку, папа втащил в гостиную безжалостно избитый палкой на свежем снегу ковер, а бабушка гордо распрямилась на кухне с железным противнем в руках, на котором умудрилась на этот раз не подпалить последний хрупкий корж для «Наполеона»...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.